

## Введение

О книгах написаны сотни тысяч работ, о письменных текстах — так много, что страшно называть даже приблизительную цифру. Даже если не принимать во внимание сугубо историко-литературоведческие и филологические работы, связанные с исследованием текстов как таковых, для которых форма фиксации не имеет значения<sup>1</sup>, даже тогда мы останемся на берегу бескрайнего моря научной литературы. Целый круг наук и академических направлений (археография, социология чтения, история книги, антропология грамотности, этнография чтения и письма) декларируют в качестве своих главных задач исследование роли письменного текста в обществе, способов чтения, письма и отношения к ним, зависимости между использованием письменных текстов и существующими социальными институтами и практиками. Подходы, сложившиеся в рамках этих направлений, являются различными векторами в изучении *письменного*, зачастую не пересекающимися и развивающимися параллельно друг другу.

В значительной степени мой выбор подходов и методов определяется академической традицией — ориентацией на антропологические исследования. Большую роль сыграли и субъективные факторы: доступность литературы и сфера общения. Сама тема работы с неизбежностью требовала обращения к очень разным областям научного знания. В этом смысле на меня оказали равное влияние как исследования по антропологии грамотности, так и работы по истории памяти и прагматике фольклора.

В центре моего внимания находятся «воображаемые книги». Используя это выражение, я хочу одновременно и уберечь читателей от напрасных ожиданий анализа прагматики чтения и письма, и

---

<sup>1</sup> По сути дела, ассоциация литературоведения с науками, группирующимися вокруг исследования «письменного», основана на случайности. Ссылаясь на работу Р. Стадларда, Р. Шартье подчеркивал существенное различие между изучением литературы и книг: «Авторы не пишут книги. Скорее, они пишут тексты, которые копируются, переписываются от руки, гравированы, печатаются или набираются на компьютере» (Chartier 2002: 51).

рубежа XIX—XX веков. Эти данные позволяют с рядом допущений судить о механизмах включения новой печатной информации в крестьянскую речь и фольклор, способах ее адаптации и зависимости от традиционных моделей интерпретации письменных текстов.

Заключительная часть работы посвящена способам использования в крестьянской среде одного из центральных для христианской догматики понятий — Священного Писания. Широкое распространение этого концепта на всей территории христианского мира определило заимствование в крестьянский фольклор самого термина «Библия» и его интерпретацию как наиболее авторитетного источника информации. Сам же авторитет конструируется крестьянами с помощью тех средств, которыми располагает крестьянская традиция и фольклор и которые существенно отличаются от средств, используемых христианскими богословами или образованной интеллигенцией.

подчеркнуть главную особенность того явления, о котором пойдет речь ниже. «Воображаемая книга» — это книга, о которой нам известно только из фольклора. Она существует только за счет акта вербализации, и мы не сможем найти ее в каталогах библиотек. Функции «воображаемой книги» в сообществе определяются не ее предметными характеристиками, включая материальные свойства и содержание, а самими целями *воображения*. Она является одним из инструментов конструирования социальной реальности: делает возможной концептуализацию границ группы, оказывается способом демонстрации авторитета в сообществе, позволяет интерпретировать те или иные процессы и явления. Средства и способы ее *воображения*<sup>2</sup> напрямую зависят от средств, которые есть в арсенале культуры. «Воображаемая книга» — продукт *коллективного воображения*. Она существует постольку, поскольку сообщество считает ее существующей, и в том виде, какой сообщество ей приписывает.

Естественно задаться вопросом о том, какие книги являются воображаемыми, а какие нет. Мой вариант ответа: все книги, которые оказываются предметом коллективного обсуждения, являются воображаемыми. Хотя это утверждение выглядит как банальный постмодернистский выпад, я исхожу далеко не из принципов новой литературной критики.

Представим себе человека, купившего в магазине книгу Н.В. Гоголя «Мертвые души». Представим, что этому человеку около 25 лет, он живет в Санкт-Петербурге, окончил здесь среднюю общеобразовательную школу № 55, затем поступил на физико-математический факультет Санкт-Петербургского государственного университета, окончил его, и сейчас является аспирантом кафедры новейших вычислительных технологий. Представим, что этот молодой человек никогда не читал «Мертвые души» Н.В. Гоголя. Насколько это вероятно? Это очень вероятно, особенно с учетом того, что поэма входит в обязательную школьную программу по литературе. Значительная часть «классических» произведений, предназначенных для чтения на уроках литературы, не читается школьниками или читается только частями. Поскольку наш молодой человек увлечен техническими науками, мы вполне можем допустить, что поэму «Мертвые души» он не читал. Теперь представим, что он ничего никогда о ней не слышал. Насколько это вероятно? Это совершенно невероятно. Человек, родившийся в СССР в 1980 году и проживший в Санкт-Петербурге всю свою жизнь, не мог ничего не слышать о «Мертвых душах». Уже в детстве он наверняка видел театральные афиши с этим названием и, возможно, спрашивал родителей о том, что значат эти слова. Может быть, он и сам смотрел один из спектаклей или кинофильмов. Даже если

---

<sup>2</sup> Используя словосочетание «способы воображения», я пытаюсь передать то значение, которое имеет в английском языке выражение «the uses of». В русскоязычном тексте я, тем не менее, не могу написать «использование книги» или «способы использования книги», потому что этот оборот с неизбежностью вызывает ассоциации с прагматикой книги как материального предмета. В данном же случае речь идет о выдуманной и с определенной точки зрения несуществующей книге.

он не читал поэму, она обсуждалась на школьных занятиях. Наконец, выражение «мертвые души» стало метафорой, нередко используемой в средствах массовой информации и в личном общении. Знание того, *что такое* «Мертвые души» Н.В. Гоголя, составляет часть обязательного знания современного образованного россиянина. Показательно, что вопрос о «чтении» здесь нерелевантен. Я помню, что меня спрашивали, читала ли я Апдайка, Буковски, даже Фаулза. Но меня никто и никогда не спрашивал, читала когда-нибудь я Гоголя или нет.

Представим себе другого молодого человека. Допустим, он закончил исторический факультет того же Санкт-Петербургского государственного университета и поступил на факультет этнологии Европейского университета в Санкт-Петербурге. Он закончил его и продолжает активную научную жизнь, общаясь с представителями академического сообщества. В сферу его обязательного знания попадают книги К. Леви-Стросса и Ю.М. Лотмана, Б. Малиновского и К. Гирца. Если он считает себя образованным «антропологом», он должен реагировать на имена М. Мид и Р. Бенедикт, Л. Леви-Брюля и Э. Эванс-Притчарда<sup>3</sup>. Если он хочет представить себя как более тонкого и эрудированного исследователя, придерживающегося широких взглядов, он должен знать, *что такое* П. Бурдьё и Ж. Деррида, Т. Адорно и А. Шюц. и т. д. и т. п. Но сколько людей из тех, кто оперирует этими именами, реально используют их в своей работе? Сколько из них читали исследования этих авторов? Совершенно очевидно, что далеко не все. Знание этих имен конвенционально, так же как знание о содержании книг, их применении, их оценке представителями тех или иных научных направлений и школ. Это знание приобретает человеком в процессе социализации вместе с другими практическими знаниями и навыками. Приобретенное из внешних (по отношению к самой книге) источников, это знание очень часто предшествует самому акту чтения, а иногда заменяет его.

Представим себе третьего молодого человека. Он зашел в книжный магазин и бродит вдоль стеллажей в поисках чего-нибудь нового. Он берет книгу, имени автора и названия которой никогда не слышал. Он покупает книгу и отправляется домой. Он читает ее вечерами в течение месяца, затем ставит на полку или забывает на работе. Возможно, эта книга показалась молодому человеку очень интересной и при встрече со своим приятелем он рассказывает о ней. Как он будет рассказывать? Ему придется воспользоваться теми способами рассказа о книгах, которые известны ему и его приятелю. Ему придется использовать ряд клише, может быть, сослаться на другие произведения, чтобы включить прочитанную книгу в какой-то уже известный собеседникам ряд, и объяснить, чем именно эта книга показалась ему интересной. Способ говорения о книгах также конвенционален и обусловлен существующими в сообществе моделями. Возможно, этот приятель также прочитает кни-

<sup>3</sup> Прошу прощения за опущенные имена Моргана и Тайлора, Боаса и Клакхона, Кребера и Дюркгейма и многих других.

гу и расскажет о ней кому-то еще, и так далее, и так далее, пока не окажется, что приятели жили в XIX веке, а книга была сборником стихов А.С. Пушкина.

Но, возможно, первый читатель забудет о книге, или просто его приятель будет в отъезде. Возможно, читатель никогда и никому не расскажет о прочитанном. Может быть, в том сообществе, к которому принадлежит наш молодой человек, вообще не принято обсуждать книги. Тогда, вполне вероятно, содержание прочитанного забудется. Здесь мы очень близко подходим к вопросу об аналогиях между восприятием письменного текста и воспоминанием. Чтение во многом аналогично «событию» как части жизненного опыта человека. Более того, чтение можно рассматривать как *проживаемое событие*. В этом смысле результат чтения — восприятие текста — зависит от существующих в обществе конвенций воспоминания. Мы помним то, что принято помнить, и так, как принято вспоминать. Здесь можно было бы сослаться на классические в области изучения памяти работы М. Хальбвакса, Ф. Бартлетта и П. Нора. Но едва ли эта ссылка будет корректной. Для них книги — это один из источников той информации, которая определяет социальную, культурную, историческую память. Для меня наоборот — социальная память определяет то, что вычитывается из книг. М. Хальбвакс пишет:

*Например, я знаю, потому что мне об этом сказали и, если подумать, мне представляется несомненным, что был день, когда я впервые пошел в лицей. Однако у меня нет никаких личных и непосредственных воспоминаний об этом событии... Так, проучившись по очереди в нескольких школах и каждый год поступая в новый класс, я сохранил общее воспоминание обо всех этих возобновлениях занятий, включающее тот день, когда я впервые пошел в лицей. Таким образом, я не могу сказать, что помню этот день, но не могу сказать и то, что не помню его. К тому же историческое представление о моем поступлении в лицей не является абстрактным. Во-первых, с тех пор я прочел некоторое количество достоверных и вымышленных рассказов, в которых описываются впечатления ребенка, впервые приходящего в новый класс. Очень может быть, что, когда я их читал, мое личное воспоминание о схожих впечатлениях слилось с описанием в книге. Я помню эти описания, и, может быть, именно в них сохранилось все, что осталось от моего преобразованного таким образом впечатления, и именно по ним я его восстанавливаю, сам того не осознавая (Хальбвакс 2005: 18).*

Говоря о восприятии текста как об акте воспоминания, я предлагаю перевернуть логику Хальбвакса вверх ногами: не только личное воспоминание о схожих впечатлениях сливается с описанием в книге, но и описанное в книгах воспринимается через призму личных и коллективных воспоминаний.

Так же как и любое другое «событие», прочитанное произведение может стать или не стать предметом воспоминаний (ср.: Кенпу 1999). Мы помним только то, для чего в обществе существует язык памяти и предусмотрен контекст воспоминания. Только в этом случае события

становятся «событиями» личных биографий, а прочитанное — частью «обязательного» знания в сообществе.

Я не вижу причин отличать читаемый текст от любого другого воспринимаемого текста — услышанного или увиденного. Если перефразировать знаменитое утверждение М. Хальбвакса, оно может быть применимо и к области чтения: «Восприятие текста в весьма значительной мере является реконструкцией произведения при помощи данных, полученных в настоящем, и к тому же подготовленной предшествующими реконструкциями, которые уже сильно видоизменили прежнюю картину»<sup>4</sup>. Точно так же, как благодаря существованию коллективной памяти человек может «помнить» события, в которых никогда не участвовал, он может *знать* и книги, которые никогда не читал. Точно так же, как принято «проверять» собственную память о прошлом, принято «проверять» собственное воспоминание о прочитанном.

Еще один аспект, имеющий отношение и к воспоминанию, и к чтению — это так называемые «сообщества памяти». Согласие группы в отношении определенных воспоминаний отчасти затрагивается в работе М. Хальбвакса, но основное развитие эта идея получает в исследованиях П. Нора. Воспоминания о тех или иных событиях являются частью коллективной памяти группы, а ритуалы памяти (*commemoration rituals*) позволяют группе «вспоминать» эти события. Память о тех или иных событиях становится маркером идентичности представителей группы. Но сообщество объединяет не только сам набор воспоминаемых событий, но и представление об их смысле. «Текстуальные сообщества», впервые описанные Б. Стоком (Stock 1983), являются наиболее яркими примерами групп, где представление о содержании и смысле читаемого текста является главным маркером групповой идентичности и основным механизмом формирования самого сообщества. Но это явление наблюдается далеко не только в сектах вальдензианцев, о которых пишет Б. Сток. Отождествление себя с представителями той или иной группы очень часто предполагает разделение принятого в этой группе представления о смысле определенных текстов (см. Львов 2007).

Память о прочитанном, язык и контекст воспоминания прочитанного, способы использования прочитанного и согласие группы в отношении смысла прочитанного — все это различные стороны одного явления — социального восприятия текста. Понятие памяти, которое я использовала выше, возможно, не самое удачное в данном случае. Заимствованное из исследований по психологии, оно, несмотря на достаточно долгую жизнь в истории и антропологии, до сих пор остается только зыбкой метафорой. В исследованиях социальной памяти значительную роль играют такие понятия, как государство, идеология и на-

<sup>4</sup> В оригинале: «Воспоминание в весьма значительной мере является реконструкцией прошлого при помощи данных, полученных в настоящем, и к тому же подготовленной предшествующими реконструкциями, которые уже сильно видоизменили прежнюю картину» (Хальбвакс 2005: 17).

ционализм, в непосредственном взаимодействии с которыми и формируется коллективная память. Для меня они оказываются на втором плане, хотя безусловно, что восприятие книжного текста также находится в зависимости от властных институций и системы авторитетов, сложившейся в обществе. Но властные отношения далеко не всегда связаны с государством. Контроль над интерпретацией текста может устанавливать церковь или лидеры общины. Тем не менее, механизмы адаптации письменного текста сообществом, которые мы можем увидеть через обращение к метафоре памяти, представляются мне очень важными.

Если мы допускаем, что знание содержания книг является социально обусловленным, то становится более понятной возможность такого различия общественных конвенций, при котором книги, существующие с точки зрения представителей одной группы, являются несуществующими с точки зрения членов другой. Такая перспектива позволяет нам обойтись без неизбежного в случае других подходов сведения различных фольклорных репрезентаций «книги» к особенностям крестьянского мифологического мировоззрения, противопоставленного современному и научному. Иными словами, убеждение в существовании «черной книги» с этой точки зрения ничем не отличается от убеждения в существовании «Анны Карениной» Л.Н. Толстого. Их различия связаны с тем контекстом, в котором эти книги обсуждаются, вербальными средствами, которые используются для их описания, и теми социальными явлениями, институтами и практиками, которые определяют эти контекст и средства.

Если рассматривать книги как предметы социального *воображения*, то окажется, что мы далеко не всегда можем отождествить их с конкретными единицами в книгохранилищах. С одной стороны, далеко не все книги оказываются в центре коллективного обсуждения и становятся частью базовой компетенции группы. С другой, даже сами названия книг, превращаясь в часть коллективного знания, могут очень сильно отличаться от официальных, зафиксированных в каталогах и документах.

Книга, которая является предметом *воображения* сообщества, известна всем членам группы, и представление о ее значении, характеристиках и содержании разделяют все члены этой группы, независимо от того, читали они книгу или нет.

Несмотря на заявленные только что широкие перспективы возможного изучения воображаемых книг, в своей работе я останавливаюсь на очень конкретных формах этого явления, имеющих узкую сферу распространения и достаточно экзотический характер для современного читателя. Речь пойдет о «воображаемых книгах» российского крестьянства имперского периода (XVIII — начало XX вв.)<sup>5</sup>.

Для большинства крестьян России книга только в недавнем прошлом стала предметом обыденной жизни. Хотя уровень грамотности в России значительно вырос в конце XIX века (Brooks 1985: XIV) после

<sup>5</sup> Средневековый и советский периоды также будут затронуты, но основной объем источников принадлежит эпохе Российской империи.

реформ в сфере образования и книгоиздания, в деревне он оставался по-прежнему низким. Существенные сдвиги в этом направлении происходят лишь в конце 30-х годов XX века (Fitzpatrick 1994: 226). На этом фоне выглядит вполне ожидаемым особенное отношение крестьян к книге, ее «идеализация» и «сакрализация». Именно так обычно интерпретируются в научной литературе различные поверья о «черной книге» и других особенных книгах, зафиксированные в этнографических и фольклорных источниках. В центре моего внимания находится не собственно «особенное отношение» к книгам, а те конкретные формы, которые оно принимает в различное время и в различных контекстах. Причины появления и распространения таких форм *воображения* книг, как я полагаю, лежат не столько в области мифологического сознания крестьян, сколько в области их повседневности, поэтому их анализ предполагает тщательное изучение множества явлений, смежных с чтением как таковым. Именно поэтому данное исследование является этнографическим. Здесь я позволю себе сослаться на Бронислава Малиновского:

*...[Э]тнограф должен исследовать все пространство племенной культуры во всех ее аспектах. Та логичность, закономерность и упорядоченность, которые достигаются в границах каждого аспекта культуры, должны присутствовать и для того, чтобы соединить их в одном неразрывном целом. Тот этнограф, который намерен исследовать одну только религию или одну только технологию, или одну только социальную организацию, искусственно сужает сферу своего исследования, что будет серьезно мешать ему в работе (Малиновский 2004: 29).*

Рассмотрение различных, на первый взгляд далеко отстоящих друг от друга культурных явлений в их взаимосвязи представляется мне ключевым аспектом этнографического метода, который я попыталась применить в этой работе.

## **Источники**

Исследование опирается на источники, которые можно формально разделить на три группы. Это, во-первых, современные полевые записи. Здесь нужно отметить Архив факультета этнологии Европейского университета в Санкт-Петербурге, где хранятся записи и расшифровки материалов экспедиций 1997–2004 годов, проводившихся на территории Хвойнинского, Шимского, Батецкого, Мошенского районов Новгородской области; фольклорный архив Академической гимназии при Санкт-Петербургском государственном университете, включающий значительный круг материалов по Новгородской, Псковской областям; архив филологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета, где также проводятся экспедиции в Северо-Западный регион и архив полевого центра Российского государственного гуманитарного университета (Москва), на протяжении последних лет постоянно работавшего в Архангельской области.

Вторую группу материалов составляют фольклористические и этнографические записи последней трети XIX—XX веков. В большинстве случаев это сведения, опубликованные в таких изданиях, как «Этнографическое обозрение», «Живая старина», «Журнал Министерства народного просвещения» и др.

Третья группа источников представляет собой материалы Этнографического бюро кн. В.Н. Тенишева, которые хранятся сейчас в архиве Российского этнографического музея (Ф. 7. Оп. 1).

Первичными источниками в традиционном значении этого термина в данном случае могут считаться только современные фольклористические записи. Хотя и здесь мы должны делать скидку на методику опроса, коммуникативный контекст интервью и т.д., эти материалы, тем не менее, фиксируют слова конкретных людей. Учитывать все обстоятельства, связанные с произнесением этих слов, мы должны для их адекватной интерпретации. Само же произнесение остается несомненным. Архивные материалы Тенишевского бюро, так же как фольклорные или этнографические публикации XIX—XX веков в силу существовавшей традиции фиксации данных требуют критического подхода даже к самому факту вербализации представленных сюжетов. В некоторых случаях мы имеем дело скорее со стереотипами и личными убеждениями собирателей, чем с крестьянским фольклором. Эти материалы представляют не меньшую ценность для исследователя, чем современные записи, но требуют тщательного критического анализа.

Поиск материалов для исследования изначально был ограничен территорией Северо-Запада и Русского Севера, включающих в современном административном делении территорию Ленинградской, Новгородской, Псковской, Вологодской и Архангельской областей.

Этот регион принято считать относительно целостным в этнокультурном плане и относительно стабильным — в демографическом (Панченко 1998: 13–14). Крестьянское население Северо-Запада России и Русского Севера является более или менее единым в конфессиональном и лингвистическом отношении. С начала 1990-х годов на территории этого региона проводилось значительное число полевых исследований, в результате которых мы располагаем большим объемом записей из этой местности. Немаловажным фактором был и мой собственный полевой опыт. Начиная с 1997 года я регулярно участвовала в фольклорно-этнографических экспедициях на территории Новгородской, Псковской и Ленинградской областей. Существенная часть использованных в работе материалов была записана при моем участии.

Тем не менее в ходе работы стало ясно, что данные по Северо-Западу России и Русскому Северу недостаточны и не позволяют раскрыть многие аспекты исследуемого явления. Потребовалось привлечение дополнительных материалов по другим регионам. Многие опубликованные данные, имеющие серьезное значение для понимания механизмов социального воображения книги, не атрибутированы и далеко не всегда поддаются точной локализации.

Работа, таким образом, сохранила свою основную ориентацию на Северо-Западный регион и Русский Север — третья, четвертая и пятая главы базируются прежде всего на анализе материалов по этой территории. Но в ряде случаев речь идет скорее о более широком регионе Европейской России. Это относится, в частности, ко второй и третьей главам, посвященным бытованию сюжета об исправлении книг и практикам «отчитывания бесноватых».

## Структура

Первая часть работы посвящена истории изучения роли *письменного* в обществах и культурах. Эта история небезынтересна сама по себе, потому что показывает, как менялась во времени логика социальных исследований, двигавшаяся от крупномасштабных построений и обобщений в сторону все большей конкретизации и детализации в определении предметов исследования. Но, кроме того, эта история все-таки обосновывает необходимость моей собственной работы и методы, к которым я прибегаю для интерпретации аспектов социального воображения.

Здесь же, опираясь на современные фольклорные записи, я даю краткий обзор тех риторических контекстов, в которых фигурирует «книга» или нечто написанное. Все выбранные случаи объединяет тот факт, что «книга» или нечто написанное не являются собственно предметами разговора, а упоминаются информантами в связи с другими вопросами или по ассоциации с обсуждаемой темой. Иными словами, во всех этих случаях упоминание «книги» либо является исключительно риторическим приемом, либо демонстрирует один из устойчивых сюжетов, составляющих фольклорный багаж данной группы. Во многих случаях риторические приемы представляют собой усеченные версии фольклорных сюжетов или в значительной степени обусловлены ими. Отталкиваясь от контекстов, которые фиксируются в современных деревнях Северо-Запада России, я в дальнейшем пытаюсь проследить историю их формирования, функции и значение в крестьянском сообществе.

Последующие четыре главы представляют собой самостоятельные очерки, посвященные различным контекстам обращения к книгам, представленным в русском фольклоре. В центре каждого из них находится не конкретная книга и ее роль в крестьянской культуре<sup>6</sup>, а тот социально-культурный контекст, который обусловил появление и распространение определенной формы воображения книги или, что гораздо чаще, целой группы сюжетов, тесно связанных друг с другом и взаимно мотивирующих друг друга.

Недостатки такого способа презентации результатов исследования вполне очевидны: бессистемность и фрагментарность изложения, вынужденные повторы фактов, имевших многостороннее влияние и, наверно, главное — отсутствие в качестве результата единой картины ис-

<sup>6</sup> О невозможности такого построения исследования см. в Главе 1.

пользования *письменного* и, соответственно, единого объяснения именно таких способов его использования. Признавая все эти недостатки, я только хочу обратить ваше внимание на несколько моментов.

Во-первых, я думаю, что создание общей картины использования *письменного* не только невозможно, но и было бы бессмысленным. Все то общее, что можно сказать об отношении людей к письменному тексту, было уже неоднократно обобщено во множестве работ, так или иначе затрагивающих эту проблематику. Как показали эти исследования, именно наличие универсальных объяснений не позволяет понять конкретные случаи использования книг. Мне кажется, только реалии «малого масштаба» дают возможность определить взаимосвязь явлений и увидеть логику действующих лиц.

Во-вторых, работа с теми или иными материалами требовала применения разных методов, и мне не удалось подвести их под один общий знаменатель. Вместо того чтобы пытаться придать работе формальное единообразие, я предпочла сделать ее эклектизм очевидным.

Вторая глава посвящена истории и сфере бытования одного из наиболее ранних сюжетов, связанных в русском фольклоре с книгой. Это — противопоставление книг «истинных» и «ложных», известное прежде всего в старообрядческой традиции. Предметами воображения в данном случае являются не конкретные книги, а типы книг. Обоснование такого различия требует мотивировок, понятных рассказчикам и опирающихся на местные практики и фольклор. Свойства и признаки «истинных» и «ложных» писаний конструируются крестьянами на основании принятых способов описания книг и практически не связаны с содержанием самих письменных текстов. Сюжет об исправлении книг сохранил свою актуальность в старообрядческой среде вплоть до сегодняшнего дня. Вместе с тем социально-исторические изменения привели к его существенной трансформации. Особенности этого процесса, а также происхождение и развитие основных сюжетных мотивов являются предметом анализа в этой части работы.

Третья глава посвящена практикам «отчитывания бесноватых» и происхождению широкого круга сюжетов о «магических» книгах. Эти книги являются воображаемыми *par excellence*: они регулярно упоминаются в народной прозе, но не существуют с точки зрения исследователя. Несмотря на кажущуюся иррациональность, бытование подобных рассказов, как я попытаюсь показать в этом разделе, во многом объясняется широким распространением и рецепцией ритуала, исполняемого священником.

Еще одним аспектом социального воображения книги является восприятие, понимание книжного текста. Информация, содержащаяся в книге, осмысливается людьми в привычных им категориях и терминах. Для понимания механизмов интерпретации текста требуется анализ существующих в сообществе моделей обсуждения книг и практик чтения. В четвертой главе анализируются материалы Этнографического бюро кн. В.Н. Тенишева, посвященные народным слухам и толкам о комете